

К.М.Станюкович. Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1.
//Художественной литературы, Москва, 1988
FB2: Vitmaier, 2008-05-08, version 1.0
UUID: de6b5871-7fac-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

«Глупая» причина
(«Морские рассказы»)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0010
III.....	.0012
IV.....	.0022
V.....	.0026

**Константин Михайлович
Станюкович
«ГЛУПАЯ» ПРИЧИНА**

— А где это вам ухо повредили, Тарасыч? На войне?

Отставной матрос Тарасыч, бывший сторожем севастопольской купальни, с которым мы частенько беседовали в ранние утренние часы, когда других купальщиков обыкновенно не было, обернулся к открытой дверке маленькой каютки, где я раздевался, и с оттенком досады проговорил:

— Вот так-то все господа любопытничают насчет уха. Скажи да скажи! Ну, я и обсказываю всем, что, мол, на войне стуцерной пулей оторвало.

— А разве не на войне?

Тарасыч после минуты колебания ответил несколько таинственно:

— То-то не на войне, вашескобродие. В севастопольскую войну господь меня вызволил. Ни одной царапинки не получил, даром что все время находился на четвертом бакстионе.

— А где же вы лишились уха?

— В Новороссийском... Вскорости после замирения мы на шкуне «Дротик» клейсерова-

ли у Капказа, а затем непокорного черкеса в Туретчину перевозили... может, слышали об этом?

– Слышал.

– Так вот в ту самую весну, как мы перевезли одну партию черкесов и вернулись в Новороссийск, я и решился уха, вашескобродие.

– Как так?

– Да так. Вовсе, можно сказать, по глупой причине.

– По какой?

– Не стоит и объяснять. Совсем нестоящая причина, вашескобродие.

Тарасыч примолк и снова принялся снимать с перекладин сушившиеся простыни и полотенца.

Эта таинственность Тарасыча, обыкновенно словоохотливого и любившего поговорить, как он выражался, об «умственном», признаться, меня заинтриговала, и я стал его упрашивать рассказать, какая это такая нестоящая причина.

Тарасыч наконец сдался.

– Вам, пожалуй, можно сказать, – проговорил он, приблизившись ко мне, – вы это са-

мое дело можете взять в понятие...

И, понижая голос, хотя в купальне не было ни души, застенчиво и словно бы виновато шепнул:

– Из-за бабы, вашескобродие.

– Из-за бабы? – невольно переспросил я.

– Точно так, вашескобродие. Из-за приверженности к одной бабе. В те поры, вашескобродие, я моложе был, – словно бы извиняясь, продолжал Тарасыч, – так из-за этой самой бабы меня обезуродовать хотели.

– Она, значит, была черкешенка?

– Зачем черкешинка? Форменная наша российская, с Дона была приехатчи с супругом. И что это за баба была, вашескобродие! Другой такой ни раньше, ни после не видал! – прибавил горячо Тарасыч, видимо отдавшийся нахлынувшим воспоминаниям и уже не стыдившийся, а напротив, казалось, охотно готовый поговорить о них.

– Вы расскажите, Тарасыч, подробно эту историю.

– Отчего не рассказать? Очень даже могу рассказать, потому вы, вашескобродие, не обессудите, что, примерно, матрос и, с позво-

ления сказать, из-за женского звания без уха остался... Другому господину быдто и смешно, а вы... одним словом... можете понять... Дайте вот только простыньки приберу. А тем временем вы искупайтесь. Вода освежительная. Я уж искупался... Теперь только ранним утречком и хорошо купаться... А господа ходят все с восьми часов, когда солнышко поджаривает и вода теплая... Довольно это даже глупо, прямо-таки сказать!

С этими словами Тарасыч торопливой и легкой походкой, словно он шел по палубе военного корабля, направился на другой конец купальни снимать развешанное белье.

Я невольно любовался Тарасычем...

Несмотря на свои шестьдесят лет, этот сухощавый, крепкий, хорошо сложенный старик глядел молодцом. Его смугловатое, сохранившее еще следы былой красоты лицо – почти без морщин и отливает здоровым румянцем. Большие темные глаза, добродушно-насмешливые и зоркие, не потеряли блеска и порой зажигаются огоньком. Черные, слегка курчавые волосы и черная большая борода только слегка подернуты сединой. Белые,

крепкие зубы так и сверкают из-под усов, когда Тарасыч улыбается или держит во рту маленькую трубочку.

Одет он чистенько и, видимо, не без заботы о некотором щегольстве. На нем всегда белый, сшитый на матросский фасон короткий буршлатик – пальто с Георгиевским крестом в петлице и широкие парусинные штаны, а по воскресеньям парусинные башмаки. В будни он в купальне ходил босой.

Тарасыч расторопен и услужлив, но держит себя с достоинством; ни перед кем не лебезит и ко всем купальщикам без различия их положений и рангов относится с одинаковой предупредительностью. Только, по старой памяти, он оказывает некоторую attention [1] морякам, и в особенности старым севастопольцам. Тарасыч всех их знает, и они все знают и уважают Тарасыча. К ним он особенно внимателен, охотно вступает в разговоры, называя по имени и отчеству даже адмиралов, ставит им, без напоминания, шайки с водой после купанья и, накидывая простыни, усердно трет своими большими, жилистыми и умелыми руками спины таких фавори-

тов-купальщиков.

Я начал пользоваться благоволением Тарасыча вскоре после приезда в Севастополь, как только он откуда-то узнал о том, что я отставной моряк и вдобавок севастопольский уроженец. Мы скоро сделались с Тарасычем приятелями, вместе ловили на заре бычков и часто, как он выражался, «балакали». Иногда, по вечерам, когда купальни запирались, Тарасыч заходил ко мне в гостиницу и охотно выпивал стакан-другой чая с коньяком, который он называл почему-то «пользительным напитком».

По-видимому, этот «пользительный напиток» значительно способствовал нашему сближению, тем более что я разбавлял чай своего гостя, нисколько не жалея коньяку.

— Что, вашескобродие, хорошо искупались? — весело спрашивал Тарасыч, набрасывая на меня простыню и начиная усердно растирать спину.

— Отлично, Тарасыч! — так же весело отвечал я, бодрый, жизнерадостный и словно бы окрепший после купанья.

— То-то я и говорю: у нас в Севастополе купанье первый сорт, ежели купаться с рассудком... ранним часом. Ну, теперь извольте одеваться, вашескобродие. Сейчас шаечку с водой для ног принесу.

Когда Тарасыч возвратился, я напомнил ему об обещании рассказать подробности его романической истории.

— Так вам в самом деле желательно послушать? — спросил Тарасыч, испытующе взглядывая на меня.

— Очень даже желательно, Тарасыч.

— Что ж... Я все в подробности обскажу...

— Пожалуйста.

— Вы господин с понятием, — снова повторил он, словно бы приглашая меня отнестись

к его рассказу с серьезностью.

Тарасыч присел на сруб купальни, опершись на стойку, закурил трубку и, видимо несколько возбужденный, начал рассказ своим мягким, приятным голосом.

— Как раз в Вербное воскресенье, как теперь помню, вышли мы, вашескобродие, из Константинополя в обратную, в Новороссийск. Рассчитывали, что дня этак через три ходу будем в Новороссийском, как следует отговеем на берегу и встретим честь честью праздник. Однако расчет вышел совсем другой, вашескобродие, от господа бога... Были уж мы недалече от Новороссийского, как поднялась штурма, и не приведи бог какая... Вроде быдто боры... С берега, значит, дует... Ну, мы на шкунке на нашей маленькой поставили штормовые паруса и ждем передышки. А качка была такая, что так бортами шкунка и черпала. А машина еле действует, никакого ходу не дает... Тогда, сами знаете, машины не нонешние были. Так день, так другой ждали ослабки, а вместо того на третий день, вашескобродие, на самую страстную пятницу, буря вовсю разыгралась, вроде быдто светопреставления было. Кругом водяная пыль, ровно мгла, ветер ревет, и волны словно кипят. Никогда в жизни не видал я та-

кой штурмы. Шкунку нашу ровно бы стружку кидает, и волна так и ходит через палубу. Тяжко было, вашескобродие. И думали матросики в те поры, что не видать нам больше света божьего. Придется, мол, топнуть на Черном море. Однако командир наш, Петр Иванович Чайкин... Может, слышали?.. Он теперь в адмиралах, в Петербурге живет...

– Слышал.

– Так он, как следует ему по должности, команду подбадривает. «Ничего, говорит, ребята, сустойм!» А сам, привязавшись к мостику, чтобы волна не смыла, стоит белей рубашки и только покрикивает: «право» да «лево»! А где уж тут править! Вовсе перестала слушаться руля шкунка наша; вышла, значит, из повиновения и бунтует. Паруса все в ключьях. Машина не забирает... одно слово – беда. Сбились, значит, матросики к шканцам, как овцы, крестятся и ждут смерти. Стоит на своем месте и командир в отчаянности. Видит, ничего ему не выдумать, будь ты хоть самый форменный капитан. Стоит и для виду форцу на себя напускает и все командует: «право» да «лево»! А голос евойный так и дрожит.

Тарасыч затынуўся два разы, сплюнуў і працягнуў:

– А я на руле орудую с подручнымі – я старшым рулевым быў, – гляджу во ўсе глыбы на валны і воруцаю, значыць, штурвалом, каб шкунку папярэк валны паставіць... Ніяк не магчыма! Мотае шкунку. І так гэта тоскава на душы, вашескабродзіе, што маладому матросу і вдару ўміраць. А галоўная прычына: Глафіры жалка, гэтай самай з Новоросійскага. Не ўвяду, мол, яе нікогды. І заместо таго каб о грэхх вшпамніць да богу маліцца, ўсе аб яе думаю... Не ўзнае, мол, як я к яе прывержан быў... Не пожалее матросіка, желанная. Із-за гэтых дум пуцце тоска. І ўсе гэта самая Глафіра бядто із валды на мяня, голубушка, глядыць, як русалочка, строга-престрага... «Пагыбай, мол, чалавек, а мне цябя не жалка... Ты мне не люб!..» І як гэта яна так мяня прыворожыла, я і до сых пар в толк не возьму, вашескабродзіе. Но толькі доложу вам, што як в первы раз я зашл в ейную лавочку по осены – мы тогда в Новоросійскым стаялі – і ўвядал хазяйку, так ровна бы мяня по башке марса-фалом сяздыло, і быў я бяд-

то вроде как в помрачении ума. И никогда со мною допрежь не случилось такой оказии... В старину бабы мною не брезговали, вашескобродие, ну и я им спуску не давал... однако, чтобы была во мне из-за их отчаянность, этого никогда не случилось. Много, мол, этого словения! Но как встрел я Глафиру, с того же разу стала она на свете для меня одна. На других хоть и не смотри... Так ведь заколдовала, видно, до смерти, каторжная. Поди ж ты! – воскликнул с добродушной улыбкой Тарасыч, словно бы сам недоумевая силе своей страсти, воспоминание о которой и теперь еще жило в нем.

– А хороша была эта Глафира? – спросил я.

– Как кому, а для меня лучше не было, вашескобродие! Сами изволите знать: не по хорошу мил, а по милу хорош. Другая вот и писаная красавица считается, а на ее, с позволения сказать, начхать. Сиди со своей красотой, как глупая пава, да кричи «уа!». Опять же, другая и вовсе быдто не красавица, а по твоему вкусу милей всякой красавицы... И я так полагаю, вашескобродие, что всякому человеку дадена одна настоящая, значит, желанная.

Только не всегда ты ее встретишь. Ты, примерно, в Севастополе, а она в Кронштадте. Но сердце все-таки чувствует, какая тебе назначена. И коли ты встрел такую, тут тебе и крышка. Потому против своей природы не пойдешь. Учует душа сродственную-то душу. Редко только они присоглашаются. По той причине и в законе люди неправильно живут. Грызутся да сварничают и вовсе друг дружку не любят. Каждая душа тоскует по другой душе, по желанной.

– А вы женаты, Тарасыч?

– Никак нет, вашескобродие. Остерегался.

– Отчего?

– Зачем зря жениться? После той самой я другой по сердцу не нашел... Так с тех пор побольком и доживаю век. По крайности, чужого века не заедаю и сам не терплю бабьего озорства.

– А на Глафире бы женились?

Вместо ответа Тарасыч сердито крякнул и задымил трубочкой.

– Чем же вам именно так понравилась Глафира и какая она была из себя? – предложил я вопрос, заинтересованный этими неожиданными

ными для меня рассуждениями Тарасыча.

Симпатичное лицо Тарасыча словно бы просветлело и помолодело, и темные ласковые глаза осветились нежным выражением, полным задумчивой, тихой скорби, когда он заговорил:

– А была она, если вам угодно знать, вашескобродие, из себя вся аккуратненькая и росту средственного. Такая сухощавенькая и пряменькая, ровно молодой тополек. Вовсе деликатного сложения, даже, можно сказать, щупленькая. И гибкая, как ивовый прутик, и на ходу легкая. Как есть перышко, вашескобродие. На руке куда вгодно донесешь. Одно слово, все в ей было одно к одному, в плепорцию пригнано и чистой отделки. А лицо у ее было чистое-пречистое и белое-пребелое. Даже загар не брал. И такого задумчивого и строгого даже, можно сказать, вида. А глаза серенькие, сторожкие, ровно бы у куличка, что на карауле стоит да озирается, умница, вокруг: нет ли где опаски? Пужливая была до людей, вашескобродие, вроде дикой козочки. Известно, какой народ в Новороссийском: дерзкий да сбродный. Солдаты эти озорливые

да наши матросы, а офицеры вовсе даже, прямо сказать, касательно женского пола бесстыдники... Ну, и она прегордо себя держала, никаких этих любезностей не допускала, ни боже ни... Так взглянет, что холод проберет... Небось умела взглянуть. Ее так и прозывали «бесчувственной» за ее, значит, неприступность гордую... А торговки иначе промеж себя не звали, как рыжей Глашкой. Из-за волос ейных золотистых, ну и опять же злились: не хороводилась она с ними и совсем не ихнего фасона была баба. Не шилохвостила подолом, не вертела зенками, не зазывала покупателей... Вовсе другого поведения была, вашескобродие. Правильная женщина!

Тарасыч примолк на секунду и продолжал:

– А нрава была скрытного. И горда и карактерна. И никогда не оказывала себя, не то, как прочие бабы. Известно, баба сейчас себя окажет, а эта нет. Задачливая какая-то. Не раскусишь! И языком зря не молола. Смотришь, бывало, украдкой на ее и никак не высмотришь, что у ей примерно на душе: весело ли ей жить на свете или нудно? Редко когда веселая была, больше в задумчивости... И умствен-

ная... с большим понятием... до книжек охотница, сидит это в лавке и книжку читает... Со всем особенная! Так я об ней понимаю, вашескобродие! – горячо закончил Тарасыч свою восторженную характеристику.

– Молодая она была?

– Сказывала, что тридцати годов, но только с виду ей тридцати не оказывало, вашескобродие... Так, годов двадцать можно было обозначить... И совсем на замужнюю не походила... Ровно бы девушка!.. Тонкая такая.

– А муж молодой был?

– Молодой... Одних с нею лет... Крепкий, здоровый мужчина.

– А человек каков?

Задавая этот вопрос, я почти не сомневался, что Тарасыч не особенно одобрительно отнесется к мужу женщины, которую он так безгранично любил. Но Тарасыч решительно озадачил меня, когда ответил:

– Хороший человек, вашескобродие. Старательный и башковатый по своей части. Он прасолом был и часто в разъездах находился... Оборотистый парень. А супругу свою он, можно сказать, вовсе обожал... Так в глаза ей

и смотрел... Добер с ней был... страсть. И что она хотела, все сполнял...

– А она его любила?

– Сдавалось мне, вашескобродие, что настоящей пристрастности к ему не имела. Почитала супруга, как следует жене, соблюдала закон, а чтобы по-настоящему иметь приверженность, чтобы, значит, до помрачения... не приметно было... А по моему рассудку, вашескобродие, главная причина в том, что души их несродственные были... Из-за того и настоящей приверженности не могло быть.

– Как так?

– А так... Не пришлись они друг дружке, чтобы как, примерно сказать, при корабельной стройке: стык в стык. Он все больше о делах заботился, одно только житейское понимал. Продал да купил! И хоть жену обожал, холил ее да рядил, а души-то ее высокой не чувствовал... А Глафира одним житейским брезговала... Она любила все больше умственное... Насчет души, значит, и всего такого прочего, вашескобродие. Почему, мол, человек на свете живет и как ему по совести жить? И где, мол, правда на свете есть? И по

какой причине звездочки горят и наземь падают?.. И велик ли предел свету?.. До всего такого она очень даже была любопытна... Ну, а Григорий Григорьич, муж ейный, ничего этого не почитал... Совсем в эти понятия не входил... И выходит – сродственности не было! Беда без этого! – примолвил Тарасыч и призадумался.

IV

— **А** как вы с ней познакомились, Тарасыч?

— Из-за эстого самого... из-за умственного разговора она и допустила к себе... Я сам, вашескобродие, грешным делом, привержен к этому... Хотя и темный человек, а все разная дума идет в голову. Так вот, как я увидел в первый раз Глафиру и пришел в безумие, можно сказать, так на другой день опять отпросился на берег и в лавочку... нитки быдто покупать. Подошел, а войти смелости нет... В груди так и колотит... И сам дивлюсь, вашескобродие, своему страху... Прежде куда вгодно входил... не боялся, а тут ровно гусенок желторотый... Однако вошел. Смотрю, вместо хозяйки — муж. Купил ниток. Тары-бары. Скучно в лавке-то ему одному сидеть, так он балакает. Давно ли шкуна пришла? Где были? Разговорились. Все думаю: она придет. Ну, я и про Севастополь, и как раньше ходили в Средиземное, про итальянцев, про штурмы... Бурдючок выпили... А тут и она вышла... Слушает. Глаза так и впились. Любопытно, значит.

А я, как увидал ее, отдал поклон, да так меня в краску и бросило. Однако виду не подаю, что оробел... Продолжаю... И чувствую, что при ей как-то складней выходит. Откуда только слова берутся... А самому лестно так, что она слушает... Так, кажется, и говорил бы целый день, только бы она слушала! Как окончил я, просят еще. «Вы, говорит, по матросской части много видели». Ну, я еще и еще... Как в Неаполе затмение солнца видели, и как гора Везувий лаву извергала... Григорий Григорьич еще вина вынес. Однако я отказался, – я всегда в плепорцию пил, вашескобродие... Взялся за шапку. А муж видит, что я матрос смирный и учливый, и сказывает: «Будем знакомы, матросик. Заходи когда». А Глафира Николаевна протянула руку и тихо-тихо так молвила: «Счастливы вы, говорит, человек... вы свет видели, а я, говорит, ничего не видела! Послушать и то, говорит, очень даже приятно...» И как вернулся я в тот день на шкуну, так даже трудно обсказать, вашескобродие, в каком, можно сказать, смятении чувств я находился... И точно вовсе другим человеком стал... И мир-то божий лучше показался, и

люди добрее... А ночь-то всю так на звезды и проглядел. И много разных дум в голове... И все об ей... Совсем, прямо сказать, вроде как обезумел, вашескобродие.

– Что ж вы, Тарасыч, сказали Глафире, что любите ее?

– Что вы, вашескобродие! – почти испуганно проговорил Тарасыч. – Как я смел, когда видел, что мной она брезговает, а не то чтоб... Я и хаживал-то редко... Придем, бывало, в Новороссийск, я забегу... так, четверть часика в лавке посижу, поговорю и айда... А самому жалко, что ушел... Но только она никогда не оставляла... А то иной раз скажет: «Уходите, Максим Тарасыч... Мне, говорит, некогда!..» Так, терпела, значит, меня, а чтоб какое-нибудь внимание, так вовсе его не было... А я так, вашескобродие, вовсе в малодушество из-за нее вошел... Не ем, не сплю... Как клейсеровали мы, вашескобродие, – бывало, стою это на руле на вахте, правлю по компасу... Ночь-то теплая... Звездочки-то горят... И такая это тоска на душе, что слезы так и каплют... И во все я исхудал по ей и ничем не мог от этого избавиться...

– А она знала, что вы, Тарасыч, так ее любили?

– От бабы не укроется, ежели к ей привержены... Учуует... И Глафира, надо полагать, чуяла... Только вида не показывала и все строже да строже со мной обходилась... Раз даже сказала: «Вы, говорит, очень часто в лавку-то не забегайте. Я, говорит, этого не люблю!» Со всем обескуражила...

– Что ж вы?

– Так я тайком по вечерам бегал... в окно заглядывал... И стыдно, что из-за бабы срамишься, а ничего не поделаешь. И зарок себе давал – не съезжать на берег. День-другой крепишься, сидишь на шкуне, а на третий отпросишься на берег – и туда... на край города, к лавочке, и вечером в окно глядишь, как она в своей горнице за книжкой сидит... И пить даже стал, вашескобродие, чтобы в забывчивость прийти... Почитай три месяца пил, как последний человек... и драли меня на шкуне за это... Ничего не брало... Все эта самая Глафира в мыслях... Все она.

Прошла минута-другая в молчании.

Наконец я спросил, желая узнать окончание истории Тарасыча:

– Как же вы тогда отделались от шторма на шкуне?

– Господь вызволил, а то бы давно рыбы нас съели. Утишил, значит, царь небесный шторму... К полудню немножко ослобонило. Поставили стаксель да бизань и вышли на курц. Опять «Дротик» послушливый рулю стал: перестал бунтовать, и доплелись мы в Новороссийск в светлое воскресенье так после полудня, – рады-радешеньки, вашескобродие, что от смерти спаслись. Буря эта самая и там свирепствовала, так многие даже ахнули, как увидели наш «Дротик» целым. Командир порта даже сам приехал на шкунку и все капитана расспрашивал и потом благодарил команду. А я, вашескобродие, только и думаю, когда отпустят нас на берег и я сбегаю поздравить Глафиру. А у меня ей и гостинец припасен был из Константинополя: шелковый голубой платочек. Отдам, мол, с яичком. После

обеда просвистали на берег, я, как следует, обрядился по-праздничному – и туда... Лавочка заперта, так я в ихнее помещение... окнами оно в маленькую улочку выходило... А у ворот Алимка сидит, черкес из мирных, ихний работник, отчаянная такая рожа, молодой. Сидит этто, свою какую-то песню гнусавит. «Нет, говорит, дома хозяев. Ушли». И сам на меня сердито так смотрит. Вижу: врет. Иду себе в ворота. А он сзади: «Секим башка тебе будет!» Ну, думаю, брешет себе татарва злая. И я ему «секим башку» ответил и вошел. Сидят они за чаем. «Христос воскрес!» Григорий Григорьевич обрадовался... «А в городе, говорит, думали, что вы на шкунке все потопли... буря-то какая!..» Похристосовались. А затем к Глафире Николаевне. «Христос воскрес!» И всего меня захолонуло, как я и с ей три раза похристосовался. «Так и так, говорю, позвольте предоставить гостинец». Строгая-престрогая стала. «Не люблю, говорит, этого». Ну, тут муж за меня вступился. «Не обиждай, говорит, человека. Возьми. Платочек отличный». Взяла и в сторону положила. А я, вашескобродие, совсем, значит, обесконфужен от такого

приема. А Григорий Григорьич велел ей наливать мне чаю, усадил и сейчас же стал расспрашивать, как это мы бурю перенесли... «Очень, говорит, я жалел тебя, Максим Тарасыч... думал, и не свидимся». А Глафира сидит это нарядная в светлом платье, такая красивая да свежая, словно вешнее утречко, а глаза строгие-престрогие. Молчит. И хоть слово бы сказала приветное, что, мол, человек жив остался. И так это обидно мне стало, вашескобродие, что и не обсказать. Плакать от обиды хочется, а не то чтобы кантовать. Тут, верно, она пожалела и ласково так сказала: «Что ж вы чаю не пьете?» И как сказала она это, то ровно бы я ожил, вашескобродие, и свет опять мне мил... Взглянул я украдкой на нее... и строгости быдто в ей меньше. Сидит, голову на ручку оперла, слушать, значит, собирается. А Григорий Григорьич пристаёт, чтобы я про бурю. Ну, я и начал. И так это я говорил, как собирались мы умирать на шкунке-то, какого страха натерпелись, и какая эта буря была, что Глафира слушает, дух затаила. Стиснула губы и впилась в меня глазами, а как я кончил – вышла из комнаты.

Муж за ей. Однако скоро вернулся и говорит: «Жалостно ты очень рассказывал, Максим. В расстройку привел Глашу...» Посидел я так час и стал прощаться. Вышла и Глафира, глаза заплаканы. Однако вид строгий. Подала руку и ни словечка. А муж объявил, что завтра уезжает на неделю в Сухум и просил навещать когда жену. Она отрезала: «Нечего, говорит, навещать. И мне дела, и Максиму Тарасычу дела». Ну, Григорий Григорьич так и оселся. Прижал хвост. А надо полагать, ваше-скобродие, что не допускала она меня к себе не со злого сердца, а из жалости ко мне же. Так после я об этом смекал, когда в разум вошел... Как вы полагаете? – неожиданно спросил Тарасыч.

И, словно бы желая пояснить свою мысль, прибавил:

– Не хотела, значит, чтобы я, видавши ее, больше да больше приходил в безумие... Она и не полагала, что я все равно был из-за нее совсем потерянный... Ну и, как правильная женщина, не желала, как прочие другие бабы, играть с человеком.

– Пожалуй, что и так. А может быть, и вы

ей нравились, Тарасыч. Только она скрывала это! – заметил я.

Тарасыч грустно усмехнулся. Скромность его и глубина чувства не допускали такого предположения.

– Ни на эстолько, вашескобродие! – проговорил Тарасыч, показывая на кончик мизинца. – Небось сердце мое учуяло бы. Чем-нибудь Глафира оказала бы, даром что скрытная. Глянула когда бы ласково... слово кинула сердечное... Уважать меня уважала за умственность, но только никакой приверженности не было.

– Ну, рассказывайте далее, Тарасыч.

– А далее много не придется сказывать, вашескобродие. Как она обескуражила меня на светлое воскресенье, я три дня со шкуны не сходил... На четвертый не сустерпел. Отпросился под вечер на берег – и айда. Вечер-то темный... пробрался я в глухую уличку и к окну... Гляжу в щелинку у ставни на Глафиру. А волосы у ей распущенные – видно, из бани вернулась, сидит одна-одинешенька и такая, я вам скажу, печальная, такая сиротливая, что сердце во мне вовсе замерло. И так это

жалко ее, и так самому тоскливо. И не знаю, что бы я дал, только бы она, родненькая, не кручинилась? И с чего это она? О чем думы думает, голубенькая? Так это я раздумываю и сам тоскую, как вдруг около меня тень, а затем что-то блеснуло и полоснуло по уху. Гляжу: Алимка, этот самый черкес, с кинжалом... «Я тебе и нос отрежу... будешь ходить сюда». Я увернулся – и на его. Сцепились. Наконец повалил я его и спрашиваю: «По какой причине ты, собака, на меня?» – «И ханым и тебе секим башка... Зачем ханым ходишь...» – «А тебе что?» – «Ханым меня не любит, а я ханым люблю, стерегу». Приревновал, значит, дьявол. А Глафира-то на этого черкеса никакого внимания не обращала... И рожа, если б вы знали, какая... Так он со злобы, черт... что выдумал!.. Стараюсь я это кинжал отнять, а он опять пырнул в руку. Тут уж я озверел... душу его за горло... Хрипит. А в это самое время Глафира с фонарем... «Вы что тут делаете? Как вы тут оказались, Максим Тарасыч?»

Я встал, молчу... Поднялся и черкес, сердито глядит так... А кинжал евойный у меня... Я глаз с черкеса не спускаю. А Глафира ему что-

то по-татарски... и так это, должно, что-нибудь очень обидное... Он это вырвал кинжал у меня и к ей... к Глафире-то. Я мигом очутился между ими, и кинжал пришелся мне в плечо. Но уж после эстого я этого черкеса раз да другой по уху и сшиб его с ног... Держу за шиворот. А он, собака, мне шепчет: «Драка была. Ханым не видал. И ты говори: драка была, ханым не видал». Путать, значит, ее не хотел... Поди ж ты! Тут Глафира велела тащить черкеса в сарай, и я запер его на ключ. «А завтра, говорит, в полицию отведут». – «Зачем, говорю... не надо», – и стал было прощаться. А она как подняла фонарь да увидала, что и лицо у меня в крови и на плече сквозь рубашку кровь, – так и ахнула. И, словно бы виноватая, вся затихла и на меня так жалостно смотрит. «Идемте, говорит, в горницу... Обмойтесь и раны перевяжите. Я вам тряпок дам...» Ну, я пришел, обмылся – полуха, гляжу, нет. Перевязал тряпками и прощаюсь... «Спасибо, говорит, вам, спасли от черкеса... Только напрасно!» Тут уж я не утерпел, слезы градом, и я вон... А она вдогонку: «Прощайте, Максим Тарасыч... Не ходите ко мне. Лучше для вас бу-

дет. Я людям горе одно приношу...» Ну, явился я на шкуну. Все: «как да как?» Обсказываю, что с черкесом в драке дрался. Увели меня в лазарет, и там я с неделю пролежал. Ухо да плечо залечивали, а я, вашескобродие, всю эту неделю в тоске был... В конце недели навестил меня Григорий Григорьевич и сказал, что Алимка-подлец из полиции убежал в горы – и след его простыл... Дело это кончилось, и никто не знал, из-за чего все это вышло... Так вот, вашескобродие, как я уха-то решился! – заключил Тарасыч.

– А Глафиру вы больше не видали?

– Видел... Как поправился, заходил в лавку попрощаться... Черкеса опять перевозить начали в Константинополь, а отсюда велено нам было идти в Одесту.

– Что ж, как она вас встретила?

– В строгости, вашескобродие. Быдто и никакого кровопролития не было. Но только, как я стал уходить, видно, пожалела опять. Крепко так руку пожала и говорит: «Не поминайте меня лихом... Бесталанная я...» А я уж тут открылся вовсе и сказал: «Век вас буду помнить, потому дороже вас нет и не будет

мне человека на свете!» С тем и ушел. Вскоро-сти мы пошли в море... А мне хоть на свет не гляди... Так прошло года три... Наконец я опять попал в Новороссийск. Сошел на берег, ног под собой не чувствую... бегу к лавочке... А там Григорий... Постарел... осунулся... Увидал меня, сперва обрадовался, да потом как заплачет... «Что с тобой, Григорий Григорыч?» Тут он и объяснил мне, что Глаша год тому назад уехала в Иерусалим и отписала ему, чтобы больше не ждал ее... Просила прощения... и объясняла, что странницей делается, божьей правды искать будет... «И тебя, Максим, вспомнила. Прислала крестик и велела тебе отдать...» Вот он, вашескобродие, – заключил Тарасыч, открывая ворот рубахи и показывая маленький кипарисовый крест. – С им и умру! – прибавил он и поцеловал крест.

– И ничего вы с тех пор не слыхали о Глафире?

– Ничего... И муж не знает, где она... Успокой, господи, ее смуту душевную! – как-то умиленно проговорил Тарасыч и перекрестился.

В эту минуту явился какой-то купальщик,

и я простился с Тарасычем.

1896

1

Внимание (от *фр.* une attention).

[^^^]